

Возможно, причина таких суждений и оценок в том, что статус писателя в России иной, чем на Западе, он по-прежнему высок: «...Для нас Писатель все еще мессия и пророк, в то время как на Западе эта профессия находится в одном списке с шоуменами и клоунами»<sup>16</sup>.

Думается, что для объективного понимания романов Пелевина требуется определенный багаж информации из разных областей человеческого знания: компьютерных технологий, восточных вероучений, российской истории. Проблема англоязычной критики есть следствие невозможности собрать воедино все уровни и пласты пелевинских текстов и воспринять их как единое целое, – а для этого необходимо, чтобы над критиком не тяготели обветшавшие идеологические штампы и эстетические предубеждения.

Проведенный на материале критических статей и обзоров англоязычных изданий анализ позволяет сделать вывод о том, что, наряду с явным сходством в оценках отдельных авторов и произведений, между отечественной и западной критикой имеются существенные различия, отражающие национально-культурные особенности восприятия новейшей словесности в России и на Западе.

Т. РЫБАЛЬЧЕНКО  
(Томск, Россия)

## **ПУШКИНСКИЙ МОТИВ В РОМАНЕ Ю. ДОМБРОВСКОГО «ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ»**

В романе Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей» (1975), наполненном аллюзиями и интертекстуальными знаками, есть «боковая» фабульная ситуация, не связанная с развитием основной романной коллизии (делом Зыбина): рассказ одного из сокамерников Зыбина о подаренной им в дореволюционные годы молодому Джугашвили медвежьей шубе, давшей повод для напоминания о долге великому Сталину и для освобождения из лагеря бывшего соратника Сталина. Ситуация вызывает явные аллюзии на известный сюжет о дарении «заячьего тулупчика» Пугачёву в повести А. Пушкина «Капитанская дочка» (1836). Можно условно назвать «мотивом»<sup>1</sup> сходные сюжетные

---

<sup>16</sup> *Евлогин К.* Проклятье писателя «П» // Сайт творчества Виктора Пелевина. Статя. <http://pelevin.nov.ru/stati/o-evlo/1.html>.

---

<sup>1</sup> Сошлёмся на работу, представившую наиболее известные трактовки понятия «мотив»: *Силантьев И.* Мотив в системе художественного произведения: Проблемы теории и анализа. – Новосибирск: Изд-во ИДМИ, 2001. Главы 1, 2, 3.

положения, поскольку в строгом смысле слова они восходят к архаическому мотиву дарения, а в конкретном случае они демонстрируют повтор общего семантического «пятна» в различных целостных сюжетах: сходство субъектов и объектов дарения, сходство атрибута дарения, сходство разрешения ситуации.

У Пушкина сюжет «заячьего тулупчика» определяет движение центральной фабулы, не просто мотивируя связь главных героев, но создавая архитектурно-структурную связь двух миров: мира частной жизни и мира народной жизни, вымышленной реальности и исторической реальности (восстания Пугачёва 1773-1774 года). У Домбровского – это один из эпизодов в фабуле романа: его завязка ретроспективно дана как вводный рассказ в четвёртой главе четвёртой части романа, а завязка введена в основную фабулу романа как одна из линий общих событий в стране во второй главе пятой части (чтение Сталиным письма Каландарашвили и исполнение решения Сталина об освобождении Каландарашвили в алмаатинском НКВД). Ситуация с дарением медвежьей шубы лишь косвенно связывает Каландарашвили и Сталина, зато композиционно соединяет несколько сюжетные коллизии разных персонажей (Зыбина, Штерна, Долидзе) и содержательно соотносится со всеми другими коллизиями (Христа, Куторги, Калмыкова прежде всего). Ситуация с «медвежьей шубой», как и в повести Пушкина, вводит мир вымышленный в реальную, «невесёлую историю», «в тысяча девятьсот тридцать седьмой недобрый, жаркий и чреватый страшным будущим год» [Т. 5. С. 628]<sup>2</sup>. Думается, Домбровский вспомнил пушкинский опыт и использовал его как протосюжет, хотя и отсылает «историю» Каландарашвили к реальному протосюжету, называя в примечании имя прототипа – Бибашвили (в других источниках более точно – Бибинейшвили). Опыт классика использован, чтобы связать частного человека и властителя, частную жизнь и историю нации не только в обрисовке социальных обстоятельств романских коллизий, не только в сознании частного человека (беседы со Сталиным в галлюцинациях пытаемого бессонницей Зыбина), но и прямо, в событиях жизни частного человека, бывшего юриста и революционера, ставшего узником лагеря при власти своего бывшего соратника. Важно, что Домбровский, указывая на подлинность фабулы, не использует подлинное имя, придавая персонажу статус вымысла-обобщения, погружая тем самым и историческую личность, Сталина, в контекст романного мира. Здесь тоже видно следование пушкинскому принципу: столкнуть текст и реальность, поверить реальность – логикой текста,

---

<sup>2</sup> Домбровский Ю. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5. – М.: Терра, 1993. – С. 628. Далее указываются страницы этого издания с указанием тома – 5.

логикой авторского идеала, а идеал текста – сущностью реальности. Домбровский, как и Пушкин, сталкивает два масштаба видения, демонстрируя устойчивость ценностей в истории, наличие абсолюта в персональном и социальном существовании человека.

Отметим и нарративное схождение в способах повествования. Частные «истории» изложены самими участниками событий: в записках Гринёва и в рассказе Каландарашвили. Акцентирована субъективность изложения, ценность частного мнения, однако записки, письменный текст, имеет потенцию закрепления и передачи частного опыта в социум, в будущее, публикуются «издателем», рассказ Каландарашвили не вписывается в анналы официальной истории, остаётся тайной для окружающих причины решение Сталина освободить врага народа, то есть частное мнение перестало быть критерием истории, хотя и осталось критерием в межличностных связях. Передаётся устно, сохраняется как понимание Другого: Зыбин вспоминает суждения о совести, о праве, о любви к жизни «хорошего, доброго человека» и готов почтить его память «мысленно вставанием».

Различие вещного атрибута мотива дарения (заячий тулупчик и медвежья шуба) имеет не принципиальное, но важное значение в различии. Исследователи отмечали<sup>3</sup>, что Пушкин нашёл сюжет «заячьего тулупчика» в реальности, в материалах для «Истории Пугачёва» обнаружил «реестр» убытков одного надворного советника, где упомянуты два тулуза. Пушкин изменил «беличий» тулуп на «заячий», возможно, опираясь на фольклорную семантику зайца как оборотня<sup>4</sup>, что вызвано оценкой «самозванства» Пугачёва. В сюжете Пугачёва и Гринёва функция посредника отдана «заячьему тулупу», дару, приводящему Гринёва в пространство Пугачёва, в оборотнический мир мнимого царствования<sup>5</sup>, Пушкин соединяет бытовую (Савельич), психологическую (Гринёв) и мифологическую (автор) семантику дара, опираясь на сказочный мотив: подарок нищему, оказывающемуся волшебником или королём: «"Вор и самозванец" Пугачёв входит в мир обыденный как существо из иного, сказочного мира... На это указывает и речевая характеристика героя – Пугачёв говорит притчами, загадками, песнями...»<sup>6</sup>.

Медвежья шуба у Домбровского контрастирует с атрибутом связи в протосюжете: медвежья шуба – атрибут хозяина леса, антицарства,

<sup>3</sup> Оксман Ю. Пушкин в работе над романом «Капитанская дочка» // Пушкин А.С. Капитанская дочка. – Л., 1984. – С. 190-195.

<sup>4</sup> Заяц // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. – М., 1995. – С. 191.

<sup>5</sup> См. об этом: Скупин Д. К мотиву заячьего тулупчика // Сайт клуба "София/Ауасофуа". – Красноярск: науч. библ. КрасГУ. <http://aواسofya.narod.ru/tulup.html>.

<sup>6</sup> Черёмухина В. Тема подарка в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». – М.; СПб.: Сайт «Академия подарка». <http://www.giftacademy.ru/4111.html?printable=Y>.

она лишена оборотничества. Но антиномически дар медвежьей шубы призван согреть «хозяина», что и происходит в событиях жизни дарителя и одарённого: не шуба приводит героя Домбровского в мир хозяина леса, в лагерь, но шуба помогает выйти на свободу, которая оказывается мнимой, перевёрнутой реальностью, ибо новый владелец шубы стал «каменным», не живым. Напоминание о даре шубы становится искушением для обоих героев сюжета: искушением свободой для Каландарашвили и искушением человечностью для Сталина. Вряд ли корректно педалировать фольклорный подтекст в сюжете Домбровского, скорее конкретизация даров (стоимость медвежьей шубы, сибирских пимов и точная сумма денег) препятствуют символизации ситуации, хотя оставляют возможность многослойной интерпретации. У Домбровского метафора дара трансформируется в знак долга, поразному интерпретируемого участниками коллизии.

Если использование мотива дара «тулупчика» объясняется его функциональным назначением, то различие близких сюжетных ситуаций заключается как в их структуре (три ситуации в развитии пушкинского мотива и две ситуации мотива Домбровского), так и в их инвариантной семантике (Пушкин использует семантику дарения, Домбровский извлекает из него семантику мотива долга).

В развитии мотива дара очевидна градация «отдаривания», которая выражает национальную основу в Пугачёве – душу униженного, способного возвыситься не только бунтом и мстостью, но щедрым дарением блага.

Первая ситуация: дарение и неадекватное отдаривание (главы 2, 7, 8, 9). В главе «Вожатый» Гринев в благодарность жалуется своего спасителя «полтиной на водку» и, когда Савельич отказывается выдать деньги, приказывает отдать Пугачёву «что-нибудь из моего платья», заячий тулуп, тесный для Пугачёва и вряд ли имеющий практическую пользу даже в зимней степи («не твоё холопье дело»), как используется дар, – отвечает вожатый Савельичу)<sup>7</sup>. В главе «Приступ» Пугачёв, объявивший себя царём, захватывает Белогорскую крепость и расправляется с офицерами, спасти Гринёва помогает Савельич, узнавший в Пугачёве вожатого, прорвавшийся к «царю» и молящий о спасении «дитяти», предлагая в пример казнить себя. Пугачёв «милует» Гринёва, несмотря на то, что Гринёв отказывается целовать руку «царю» [С. 569]. В «Незванный гость» Гринёв отказывается служить Пугачёву и не признаёт в нём царя, однако отпущен: «Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь» [С. 574].

---

<sup>7</sup> Пушкин А. Избранные сочинения: В 2 т. Т. 2. – М.: Художественная литература, 1978. – С. 541. Далее в тексте указаны страницы этого издания без указания тома.

Вторая ситуация дарения с «заячьего тулупчика» возникает в главе IX, «Разлука», где Савельич предъявляет Пугачеву долг – «реестр барскому добру, раскраденному злодеями», и «пожалованный твоей милости» заячий тулупчик оценен в 15 рублей. Но Пугачёв великодушно не наказывает слугу Гринёва за дерзость, однако при выезде из крепости Гринёву отдали «овчинный тулуп» и «полтину денег». То есть Пугачёв, отблагодаривший Гринёва жизнью, расплатился «за добродетель» ещё и по практическим меркам (меркам Савельича).

Мотив «заячьего тулупчика» снова возникает в третьей ситуации: в главе XI Гринев и Пугачев отъезжают в Белогорскую крепость спастись от «злодея» невесту Гринёва. Кибитку нагоняет Савельич, его Пугачёв милостиво садит на облучок, за что Савельич обещает: «о заячем тулупе и упоминать уж не стану». Пугачёв вновь «пренебрег неуместным намеком», но упомянул о «стакане вина и заячем тулупе» в разговоре с Гринёвым о том, что он «не такой кровопийца, как говорит обо мне ваша братья» [С. 589]. Новый дар Пугачёва, жизнь («пропуск во все заставы и крепости») и счастье (невеста), связан не с возвращением долга и не с оправданием («Прощай, ваше благородие!»). Пугачёв последователен в осуществлении себя как в добре, так и в отщепенности: «Буду продолжать, как начал» – говорит он о восстании, но он последователен и в благо-дарении (не только Гринёву, но и Швабрину: «Милую тебя на сей раз..., но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта» [С. 592]).

Мотив дарения даёт психологическую характеристику персонажам Пушкина и выражает авторскую концепцию критериев человеческого поведения – высокую оценку непосредственной, эмоциональной реакции человека на ситуацию, что корректирует социальную и рациональную модель поведения и этики. Гринёв, следуя кодексу дворянского поведения, готов одарить «вожатого» деньгами на водку, но обязательство не распоряжаться деньгами и несогласие Савельича одарить за помощь, его унижительное отношение к вожатому побуждают Гринёва возвыситься над снисходительной щедростью и дать не «на водку», а одежду со своего плеча. Но и Пугачёв нарушает им самим созданный закон бунта, мести и принародно «милует» Гринёва, а потом с радостью дарит благо не в оплату за благо.

У Домбровского мотив дарения свёрнут к двум ситуациям (завязка – развязка), не развивает цепи событий, персональных отношений. Общее с литературным протосюжетом – непрагматичность, отсутствие целенаправленности дара: как и Гринёв, Каландарашвили не предполагают будущей метаморфозы одариваемого. Меняется исходная ситуация дарения: Каландарашвили в 1904 году «одолжил» (не подарил) отправленному в сибирскую ссылку молодому Джугашвили «пятьде-

сят рублей..., а кроме того медвежью шубу и прекрасные валенки из тонкой белой шерсти с красным узором на бортах», «с верной оказией ...послал ему денег и эти вещи. И написал, что если потребуется ещё, пусть не стесняется, а сразу даст знать» [Т. 5. С. 482]. Долг условный, готовность к бескорыстной помощи беспорна, и Сталин ответил телеграммой: «Благодарю. Больше ничего не надо. Очень тронут предложением. Ваш...». Несерьёзность долга акцентирована тем, что Джугашвили помнил об этой помощи и готов был отдать долг, но вместе с Каландарашвили они смеялись условию расплатиться либо «после революции», после осуществления общей цели, либо «когда я буду в таком положении, как вы были тогда» [Т. 5. С. 483]. Условия исключали друг друга – осуществление общей цели делало невозможным повторение (или переворачивание) положения.

Через четверть века Каландарашвили оказывается в подобной ситуации гонения, а Джугашвили оказывается Сталиным, подлинным царём (становится главой Советской России), превращая страну в лагерь, куда Каландарашвили отправлен не Сталиным, но знающими его юристами, исполняющими законы властителя. У Домбровского Сталин не прямой губитель Каландарашвили и не прямой его освободитель; он субъект, губящий и миллионы, и отдельного человека, не противника. Ситуация дарения/долга разрешается не ответным дарением, а нарушением законов человечности. Сталин не связан отношениями с Каландарашвили, потому что человек выпадает из пространства его вождистских действий, и все боятся человеческих связей, нет Савельича, готового напомнить о долге.

Поэтому Каландарашвили отваживается сам напомнить о долге и обязательстве Джугашвили и Сталину, обращаясь к нему «Гр-ну Джугашвили (Сталину). Иосиф Виссарионович...» и надписывая конверт «Члену ЦК такому-то. Лично, для передачи» [С. 484]. В именовании столкнулись три возможных сущности адресата: вождь (Сталин), частный человек (Джугашвили, Иосиф Виссарионович) и равный по декларируемым законам нового социума гражданин, член ЦК.

У Пушкина не дворянин, а его слуга напоминает самозванцу о долге благодарности. Цель обращения Каландарашвили сложно интерпретировать. Сам он признаётся в равной готовности к свободе и к расстрелу за недопустимое неуважение к властителю («либо пулю, либо свободу»). Но в обращении к Сталину нет просьбы о милости, это акт бунта побеждённого, следование зековскому (экзистенциальному) принципу «не бойся»: просьба вернуть «дореволюционный долг» обусловлена прежними, человеческими, обязательствами, естественными отношениями людей, помогающих друг другу в беде. Письмо Каландарашвили деловое, не претендует на нравственное воздействие, оно

преступно только равенством разговора с властителем: «...Напоминаю Вам, что в 1904 году на станции Енисей мною Вам в порядке помощи в стальной вагон были переданы: 50 рублей деньгами, шуба на меху стоимостью в 120 руб. и пимы сибирские стоимостью 5 рублей. Всего 175 руб. Прошу вернуть долг по курсу» [Т. 5. С. 484].

Сюжет благодарности сменяется сюжетом взыскания долга: дар оценён как акт помощи, а благодарность оценена «по курсу».

Была ли цель у Каландарашвили актуализировать чувство долга в тиране? В протосюжете ситуация благодарения спровоцирована Савельичем, а фразу «долг платежом красен» произносит Пугачёв, воззвание к долгу перевешивается внутренней интенцией одарённого. Сворачивание проблемы к финансам («находясь в затруднительном материальном положении», – пишет из лагеря человек, доведённый до желания смерти) свидетельствует об отсутствии как апелляции к чувствам, так и к правовому сознанию властителя. Он не приводит факты, способные либо разжалобить (как Савельич), либо открыть Сталину реальность социальных условий в стране, что свидетельствует о неиллюзорности сознания героя Домбровского, о следовании принципу «не верь»: ни в нравственное воздействие, ни в силу логических аргументов на человека, готового заблуждаться. Писатель XX века не демонстрирует ни сословную честь (юристов), ни национальные архетипы (два грузина), ни власть идеалов (оба революционеры) героев, оставляя им лишь свободный выбор, поступок, рождённый не правилами поведения, а конкретной ситуацией бытия, их личной волей, как бы ни корректировалась она положением.

В «Капитанской дочке» сюжет взыскания долга отдан Савельичу, который и сам, исполняя данное барину слово, следует ему до конца («Отпусти его; за него тебе выкуп дадут. А для примера и страха ради вели хоть повесить старика!»). И апеллирует он к человечности Пугачёва («Отец родной! – говорил бедный дядька. – Что тебе в смерти барского дитяти?»), но его следование долгу не имеет личного обоснования, он предьявляет Пугачёву не только «реестр» разграбленного имущества, но и подаренный заячий тулупчик. Каландарашвили, сводя долг к имущественному и исчислимому, лишь провоцирует интерпретацию Сталина и не стремится прямо воздействовать на человечности Сталина, ибо человеческие отношения не могут вернуться, если сам Сталин не выберет их. Каландарашвили понимает безрезультатность обращения к Сталину и не сводит её к своему освобождению: «...сглупил я страшно, потребовал, как говорится, у каменного попа железной просфоры, а поп этот – человек действительно каменный, без всяких там сантиментов, он на письмо это посмотрел с государственной точки зрения» [Т. 5. С. 462]. Взыскание долга в дискурсе пла-

тёжного обязательства обретает подтекст взывания к экзистенциальному долженствованию, а не к прагматическому разрешению личной или социальной ситуации. Но главное: обращение к Сталину не может быть свидетельством слабости, компромисса или иллюзий Каландарашвили.

Развязка сюжетного мотива в романе формально близка пушкинской развязке: Каландарашвили освобождён из лагеря. Семантика же развязки сюжета дарения противоположна. У Пушкина во-первых, в развязке Пугачёв активен – он трижды совершает дарение, превосходящее дар Гринёва, он участвует в спасении Маши, он общается с Гринёвым, почти исповедуется ему. Пушкин доказывает возможность диалога народа и дворянства, диалога людей на основе естественных человеческих ценностей поверх социальных и идеологических барьеров. У Домбровского – дистанция между Сталиным и Каландарашвили не возвращается к «дореволюционной», к естественной. Кроме того, Сталин, обнаружив некоторое чувство долга, боится свободного поступка, соответствующего личному чувству, но противоречащего формальному закону. Сталин, готовый сдержать слово, данное Каландарашвили, противопоставляет государственный долг нравственному своеволию, выдвигает аргументы: «На каком основании? Я ведь не самодержец. Не государь император всероссийский, это тот мог казнить, миловать, мог всё, что хотел, – я не могу. Надо мной – закон! Что из того, что этот Каландарашвили был хорош? Советской власти он – плох! Вот главное!» [Т. 5. С. 542]. Сталин находит статью, которой он может прикрыть личный выбор: «больного, которого невозможно излечить в условиях заключения, освобождают от отбывания наказания» [Т. 5. С. 543]. Но медицинский осмотр показал, что Каландарашвили не болен смертельно, а сам он на подсказывающий вопрос Штерна, лежал ли он в больнице, возразил, подчеркнув, что не готов за освобождение играть по правилам освободителей (как освобождённый Гринёв отказался от такой платы за дар, как служба к «царю»). Формальный закон столкнулся с личной позицией конкретного человека, а исполнители тем не менее вынуждены по «законопослушной» воле Сталина нарушать закон, выпуская Каландарашвили и не выпуская других больных и немощных.

Домбровским, утверждая значение права, не отождествляет юридические законы с подлинным правом, как законы государственной юриспруденции обеспечивают нарушение права. Каландарашвили – юрист, но его поведение регулируется правосознанием свободной личности. Он верен не присяге, сам был революционером, потому что не мог принять законы государства соответствующими абсолюту; он следует праву экзистенциальному. Так, он приводит пример лагерной



законопослушности: конвоир стреляет в того, кто хоть носком зашёл за черту зоны: «Так что же это... Закон? [...] Не знаю и знать не хочу. Знаю только, что такого быть не может, а оно есть». Каландарашвили не принимает релятивных законов, которые основаны на принципе целесообразности (право что, что имеет историческую перспективу, что полезно); он, как и Зыбин, понимает «закон» как личный абсолют: «Тут ведь политики нет. Личный долг – вот и всё!». Домбровский даёт этому персонажу экзистенциалистское толкование не только права, но и совести, которая не сводится к внеличным правилам и заповедям, а представляет критерии личности в принятии позиции в конкретной ситуации Тут-бытия: «Совесьть-то совесьтью, конечно, но у каждого есть своя собственная совесьть, и он в неё свято верит. В особенности, если он негодяй!» [Т. 5. С. 478]. Совесьть как надличностный закон и как эпистемы социума может быть волчьей или «щучьей» («?А совесьть у тебя есть?» – спросил карась у щуки. А щука разинула пасть да и проглотила карася» [Т. 5. С. 477], – пересказывает Салтыкова-Щедрина Каландарашвили), есть совесьть негодяев, их принципы и законы.

Счастливая развязка ставит Каландарашвили в новую ситуацию выбора способа существования в мнимом освобождении. По милости Пугачёва Гринёв был вынужден наблюдать за исторической трагедией со стороны («Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии»), а после смуты быть счастливым с Машей. Каландарашвили тоже испытал счастье, выбравшись из лагеря на самолёте, о котором мечтал всю жизнь («Лечу и думаю: ну, теперь мне и умирать не страшно...»), что тоже даёт оправдание человеку выбирать жизнь. Не становится только жертвой, что оправдывает и обращение к Сталину. Получив право жить, он не становится обвинителем, мстителем, благодарным рабом спасителей, счастливым беспамятным обывателем; он остаётся верен себе и своему пониманию реальности как неразумного мироустройства.

Следователи Штерн и Долидзе играют по сценарию восстановления права, окружают уважением, обедают с ним в ресторане НКВД. Ему предлагается не сотrudничество, как Корнилову, а лишь забвение прошлого («пустить теперь эти вопросы вас не волнуют»), но он отказывается играть в театре абсурда, молчать о том, что знает: «вдруг как-то очень прямо, с улыбкой поднял на Штерна глаза. “Ты вот подыгрываешь, а я с тобой не играю”»

поняла его улыбку Тамара» [Т. 5. С. 568]. Подобно Гринёву он не остаётся наблюдателем, тот спасает Машу, а Каландарашвили высказывает свою личную правду, своё понимание абсолюта служителям власти. Не только бесчеловечность лагерей, но и их противозаконность

государственной юриспруденции неоспорима, но нельзя свести лагерь к нарушению законов, они – порождение власти: «А бить эта власть может, сурово перебил его старик, – и отбивать лёгкие на следствии она может? Сажать отца за сына он может? А “слушали – постановили” это что такое? Мы же юристы, Роман Львович, так скажите мне – что это такое? А?» [Т. 5. С. 571]. И Долидзе понимает, что он не изменит себе, в благодарность за жизнь не станет молчать, хотя не будет уже бороться за новое государство, как по молодости, но будет нести истину факта и безусловное знание, абсолют: «Ведь он будет ходить и рассказывать» [Т. 5. С. 574]. Столкнувшись с силой государственной системы, основанной на «целесообразности», он свёл свой долг к личному, экзистенциальному, но сюжет показывает, что даже на каменного попа чья-либо личная свобода, как свидетельство превосходства Другого, действует оживляюще.

Домбровский более, нежели классик, акцентирует недостижимость идеала и межличностного влияния. Это объясняет необходимость отсылки к судьбе реального прототипа, реальному эпилогу, контрастному счастливой развязке сюжета пушкинского героя: скорая смерть, а не счастливая жизнь после освобождения. В эпилоге повести Пушкина эстафета благих «даров» продолжена императрицей и обеспечивает счастье частных людей, герой Домбровского, получив свободу, осуществляет лишь временную возможность «истину царям с улыбкой говорить», безрезультатную, нецелесообразную и наказуемую, о чём свидетельствуют судьбы других персонажей и судьба прототипа.

Смысл мотива дарения «медвежьей шубы» уточняет эпитафия к четвёртой части романа, где помещён рассказ Каландарашвили: «Он посмотрел на себя [в зеркало], отошёл – и тотчас забыл, каков он. *Послание Иакова, 1, 24*».

В Соборном послании св. апостола Иакова, написанном для христиан из Иудей, оказавшихся в рассеянии, говорится об ответственности знающих Слово («закон», абсолют) за подлинность Слова, о терпении в испытании веры («...испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» 1, 3-4), об искушении самообманом, мелочами («В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью...» 1, 13-14; «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всём» 2, 10), о подтверждении Слова поступком («Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» 2, 17).

Каландарашвили, доведённый испытаниями до границы терпения, обращается к Сталину с напоминанием о долге, искушает себя иллюзией спасения, а надеждой на смерть, ибо за подобную дерзость он ждал конца мучениям. Он не искушает на человечность Сталина, ибо не верит в человечность тирана, но напоминает о простом законе долга. Каландарашвили не искушает и себя ни надеждой, ни поиском виновных в своих мучениях, остаётся только требование к себе быть верным «совершенному» закону. Поступок Каландарашвили следует принципу, провозглашённому Иаковом: «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошёл и тот час забыл, каков он» 1, 22-24.

Каландарашвили объективно близок и к предостережению св. Иакова о значении мелочей в испытании веры, он смеётся над профессорами, владевшими знаниями, но позволявшим себе лазать по лагерным помойкам. На возражение Зыбина, что бесчеловечно смеяться над человеческой нуждой и слабостью, Каландарашвили отвечает: «...Это действительно смешно. Вы что думаете, что человек недостаточно силён? Что он не может не затапывать себя в грязь? Не делаться предметом издевательства? Эдакой жестянкой на собачьем хвосте. Чепуха, дорогой! Может, сто раз может!» [Т. 5. С. 480]. Каландарашвили обнаруживает в мелочах поведения достоинство, нежелание быть в унижительном положении, отказывается быть рабом своего тела. Высветить это позволяет указанный в эпитафии текст Иакова: «...отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души» 1, 21. Знание и свобода принятия «совершенного» закона, абсолюта, делают человека не жертвой и не заложником закона. Свобода ведёт к снятию претензий к миру при трезвом его понимании, отсутствие ненависти к миру, в котором невозможно существовать. Каландарашвили сохраняет внутреннюю уравновешенность («хороший, добрый человек»). Наконец, Каландарашвили проявляет высшую свободы – не бездействие, а исполнение Слова в «полноте терпения и искушения», вступая в диалог с тираном, его слугами, но и с другими людьми, могущими его понять. В Послании Иакова это сформулировано так: «...кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нём, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своих действиях» 1, 25. Получив, казалось бы несоразмерное возвращение долга, Каландарашвили реализовал не только свободное, не даримое право на жизнь, но и право на слово.

Пересечение современного писателя с классиком говорит не о традициях, не об учёбе, а об опоре на известный многим, учившимся на «факультетах ненужных вещей» читателям сюжетный мотив для активизации интерпретации частного случая в романе, чтобы в тексте всего романа были прочитаны экзистенциальные смыслы.

И.В. ПЕТРОВ

(г. Екатеринбург, Россия)

## РОМАН ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА «ПАТОЛОГИИ» И ТРАДИЦИИ ВОЕННОЙ ПРОЗЫ 1950–1970-Х ГОДОВ

Захар Прилепин родился в 1975 году. Он окончил филологический факультет Нижегородского университета им. Н. Лобачевского, служил в ОМОНЕ, участвовал в чеченских событиях дважды – в 1996 и 1999 годах. Этот опыт нашел свое отражение в романе «Патологии», опубликованном в 2005 г. Как автор этого романа Прилепин становится лауреатом премии «Вдохнуть Париж», премии издания «Литературная Россия», премии «Роман-газеты» в номинации «Открытие», а также вошёл в шорт-лист премий «Борис Соколофф-приз» и «Национальный бестселлер». Таким же успехом пользовались и его романы «Санька» и «Грех». Последний в 2008 г. был удостоен премии «Национальный бестселлер»<sup>1</sup>.

Казалось бы, перед нами идеальный портрет представителя генерации «новых реалистов». В основе произведения, как мы отмечали, личный опыт писателя, и фигура главного героя романа – Егора Ташевского – вполне может быть соотнесена с самим Захаром Прилепиным. Сдержанный стиль, напоминающий манеру Э. Ремарка или Э. Хэменгуэя. Ослаблен сюжет: внешне кажется, что повествователь воссоздает череду боев, не заботясь о связи между эпизодами.

Однако, не все так просто. Если вчитаться в прозу З. Прилепина, то можно увидеть, что многие ее сюжетные узлы оказываются принципиально узнаваемыми. Он обращается к тем же коллизиям, которые осваивала еще в 1950- 1970- х гг. так называемая лейтенантская – и шире: военная – проза<sup>2</sup>. Есть существенная близость между образной тканью романа «Патологии» и отдельными мотивами повестей В. Некрасова, Г. Бакланова, К. Воробьева, В. Кондратьева.

<sup>1</sup> Прилепин З. Биография. Режим доступа: <http://www.zaharprilepin.ru>.

<sup>2</sup> См. о лейтенантской прозе: *Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н.* Современная русская литература: 1950–1990-е годы: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений: В 2 т. – Т. 1. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – С. 162-181.